

ШЁПОТ САДА

— Роман —

— Д. МИРАНДА —



Д. Миранда

Шепот сада

<https://litres.ru/74609754>

SelfPub; 2026

Аннотация

Роман. Андалусия, конец XIX века

Каталина де Вильянуэва — последняя наследница обедневшего рода. Долги растут, малагские кредиторы не ждут, и спасение одно: брак с герцогом Родриго де Альба-и-Осорио, богатым, учтивым и холодным.

Но в апельсиновой роще отцовского поместья Каталина встречает садовника Лео — единственного, кто говорит с ней как с равной и узнаёт её по шагам. Чем ближе свадьба, тем опаснее каждая встреча: слухи о женихе тревожнее его писем, в доме появились чужие люди, а в материнском секретере лежат письма с чужой тайной.

Каталине предстоит решить, чья жизнь будет её собственной: расписанного по статьям контракта или неотправленных писем, которые женщины её семьи писали и прятали поколениями.

Роман о выборе между долгом и сердцем, о любви, что цветёт не по расчёту, как сад, и о молчании, которое однажды становится поступком.

Жених по расчёту, садовник с книгой стихов и сад, который не лжёт.

Содержание

Глава первая. Апельсиновая роща	4
Глава вторая. Письмо	29
Глава третья. Экономка	48
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Д. Миранда

Шепот сада

Глава первая. Апельсиновая роща

Наш дом — точнее, то, что осталось от некогда обширного поместья Вильянуэва, — стоял на невысоком холме над долиной, там, где андалузское солнце с рассвета до заката щедро заливает белёные стены таким светом, что в полдень на них больно смотреть. Дом этот строился по частям на протяжении двух столетий, и потому в нём странно уживались старое крыло — суровое, почти монастырское, с узкими окнами и толстыми стенами, помнившими, как говорила донья Ремедиос, ещё мавританские времена, — и новое, пристроенное прадедом, с его лёгкими галереями, аркадами и внутренним двориком, где журчал фонтан, привезённый, по семейному преданию, аж из Гранады.

Моя комната находилась в старом крыле, и я всегда любила её именно за эту суровость — за толстые стены, что летом хранили прохладу, а зимой не пропускали внутрь того промозглого влажного холода, каким Андалусия умеет удивлять даже тех, кто уверен, будто здесь всегда тепло. В то утро я проснулась, как просыпалась в последние недели, ещё до того, как первый луч солнца коснулся черепичных крыш, — с

той смутной тяжестью на сердце, что не имеет ещё названия, пока разум не успел вспомнить, что именно тревожит его прежде всех прочих мыслей. Затем тяжесть обретала имя: герцог, помолвка, свадьба, — и я, точно от озноба, куталась в простыню на несколько лишних минут, прежде чем заставить себя подняться.

Горничная Соледад помогла мне одеться и уложить волосы тем скромным манером, каким я предпочитала ходить по утрам, до тех пор, пока не приходило время официальных визитов, требовавших куда более сложных причёсок и куда более тесных корсетов. Из окна моей комнаты была видна часть апельсиновой рощи — та самая, куда меня неудержимо тянуло в последние месяцы всё сильнее, — и в то утро, глядя на неё, я уже знала, ещё до завтрака, ещё до матушкиных слов о землях от Кордовы до моря, что непременно найду предлог туда сбежать.

Отец говорил, что сад — единственное место в нашем поместье, которое не лжёт. Он повторял эту фразу так часто, что она стала для меня чем-то вроде домашней молитвы — не той, что произносят по воскресеньям в церкви, а той, что живёт где-то под рёбрами и всплывает сама, без спроса, в минуты, когда всё вокруг вдруг начинает казаться слишком хрупким или слишком фальшивым.

Я вспомнила эти слова сегодня утром, когда матушка в третий раз за завтраком поправила мне гребень в волосах, будто это могло исправить то, что герцог де Альба приезжает

через две недели, а я всё ещё путаюсь, к какому из его многочисленных владений он сейчас более привязан — к тем ли землям под Кордовой, что достались ему от отца, к поместьям в Кастилии, о которых так восторженно писала матушкина кузина из Мадрида, или к тому загадочному дому в Севилье, о котором ходили слухи, будто он куплен вовсе не для хозяйственных нужд, а для тайных встреч, в которые благовоспитанным девицам полагается не верить.

— Каталина, ты меня слушаешь? — матушка отложила вилку с тем характерным звоном о фарфор, каким она умела выразить больше неудовольствия, чем иная женщина могла бы выразить криком. — У дона Родриго земли от Кордовы до самого моря. Ты понимаешь, что это значит для нас?

Я понимала. Понимала так ясно, что от этой ясности хотелось выбежать вон из дома — через галерею, через внутренний дворик, туда, где пахнет нагретой землёй и цветущим апельсином, а не воском для натёртых полов и не тем особым, чуть кисловатым запахом старой бумаги, который в последние месяцы преследовал меня повсюду в доме, будто самый воздух в нём пропитался цифрами из хозяйственных книг, которые матушка теперь вела сама, поздними вечерами, при одной свече, чтобы не тратить лишнего масла на две.

Наш дом не всегда был таким. Я помню его другим — шумным, полным гостей, полным того особого, беспечного изобилия, которое умеет расточать себя, не считая, до тех пор, пока не окажется, что считать больше нечего. Отец был

человеком щедрым сверх всякой бережливости — щедрым к друзьям, щедрым к арендаторам, щедрым, как оказалось, и к собственным иллюзиям. Когда он умер три года назад — тихо, во сне, как будто сама смерть постыдилась тревожить его лишний раз, — вместе с ним умерла и та беспечность, в которой я выросла. Управляющий, призванный разобрать бумаги, неделю не выходил из кабинета, а вышел оттуда постаревшим на десять лет и с лицом человека, увидевшего то, чего лучше было бы не видеть: векселя, заложенные земли, долги ростовщикам в Малаге, о которых даже матушка, кажется, не подозревала.

С тех пор в доме говорили о деньгах так, как в иных домах говорят о болезни, — понижая голос, отводя глаза, произнося цифры почти шёпотом, будто громкое слово могло приманить ещё большую беду. И в этом безмолвном ужасе перед разорением герцог Родриго де Альба-и-Осорио явился нам не женихом, а спасением — тем самым чудом, которого ждут в конце горькой сказки, не спрашивая, хочет ли того сама героиня.

Так я и сделала — выбежала вон, как делала это уже добрую сотню раз с тех пор, как объявили о помолвке, ища в саду то, чего не находила в доме: минуты, когда никто не считает моё будущее в терминах приданого и десятин.

* * *

В роще было тихо — час ранний, работники ещё не появлялись, и только птицы наполняли воздух той бестолковой,

радостной вознѣй, какая бывает у птиц, не знающих, что где-то в мире существуют долги и помолвки. Только он был там, у старых деревьев, что отец посадил в год моего рождения, — Лео, стоявший ко мне спиной, обрезал сухие ветви с той медлительной аккуратностью, с какой другие люди перебирают чѣтки.

Я знала его почти всю жизнь, хотя по-настоящему — только последний год. Он поступил в поместье садовником пять лет назад, сменив своего отца, старого Тадео, который прослужил у нас без малого сорок лет и умер, как многие в этих краях умирают, — тихо, в своей постели, среди тех самых деревьев, которые вырастил. Лео тогда было двадцать, и матушка, помню, сомневалась, справится ли столь молодой человек с таким большим хозяйством, но отец, ещё живой в ту пору, только рассмеялся и сказал: «Земля не спрашивает возраста, донья Виолета. Она спрашивает рук и терпения». У Лео оказалось и то, и другое — а вдобавок то, чего никто в доме не предполагал найти в садовнике: образование, полученное от деревенского священника, падре Ансельмо, что несколько лет учил мальчика грамоте, латыни и даже начал ботаники, находя в нём ученика более прилежного, чем иные дети из благородных семей, которых присылали к нему для науки.

— Сеньорита, — сказал он, не оборачиваясь. — Вы простудитесь. Роса ещё не сошла.

— Откуда вы знаете, что это я?

Он обернулся. Глаза у него были цвета той земли, которую он с утра до вечера держал в ладонях — тёмные, тёплые, спокойные, будто ничто в мире не могло их удивить. Кроме, быть может, меня.

— По шагам, — сказал он просто. — Вы одна в доме так ходите. Точно боитесь разбудить камень.

Я не нашлась что ответить. Вместо этого спросила о деревьях — о тех, что он привил весной, о том, будет ли в этом году богатый цвет. Он отвечал обстоятельно, показывал мне место прививки, говорил о соке и коре так, точно это были не деревья, а живые существа, достойные заботы не меньше, чем люди. Я слушала его голос — низкий, ровный, без той суетливой почтительности, с какой говорили со мной прочие слуги, — и думала о том, как странно устроен мир, в котором человек, знающий о жизни дерева больше, чем иной агроном с дипломом, обречён всю жизнь оставаться «работником», в то время как человек, чьё единственное достоинство — унаследованный титул, зовётся «доном» и получает право распоряжаться моей судьбой, ни разу не спросив о ней.

Слушая его, я поняла: вот единственный человек в этом доме, который говорит со мной не как с наследницей Вильянуэва, не как с невестой герцога де Альба — а просто как с Каталиной, что боится разбудить камень.

Через две недели приедет герцог. Через два месяца — свадьба.

А пока — только это утро, только этот запах цветущего

апельсина, и человек, которому я, кажется, не безразлична
ровно настолько же, насколько он — мне.

* * *

Возвращаясь из рощи, я пошла не самой короткой дорожкой — через розарий и внутренний дворик, — а той, что вела мимо домов арендаторов, приютившихся у самой границы наших земель. Я делала так часто в последние месяцы, хотя сама не смогла бы объяснить зачем: быть может, для того, чтобы напомнить себе, ради кого — или ради чего — затевается весь этот брачный расчёт, а быть может, просто чтобы отсрочить неизбежное возвращение к матушкиным альбомам с кружевом.

У колодца, как обычно в этот час, сидела старая Марта — вдова одного из отцовских арендаторов, женщина, что помнила меня ещё в пелёнках и позволяла себе с наследницей Вильянуэва ту фамильярность, какую не позволял себе больше никто в поместье, кроме, пожалуй, доньи Ремедиос.

— А, сеньорита Каталина, — сказала она, щурясь на меня из-под выцветшего платка. — Идёте от рощи? Роса небось платье намочила.

— Немного, — призналась я, присаживаясь на низкую каменную ограду рядом с колодцем, как делала это ещё девочкой. — Как ваше здоровье, Марта?

— Здоровье как здоровье, для моих-то лет. — Она махнула рукой с той решительностью, с какой старики отмахиваются от разговоров о собственном недомогании, считая

их пустой тратой времени. — А вот вы мне лучше скажите, правда ли, что вы за герцога какого-то выходите? Внучка моя в городе слышала, языки-то там бойкие.

— Правда, — сказала я, чувствуя, как этот простой вопрос отзывается во мне уже привычной, тупой болью. — Через два месяца свадьба.

Марта посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом — тем взглядом, каким смотрят люди, прожившие достаточно долго, чтобы видеть за словами то, что не сказано вслух.

— Ваш батюшка, упокой Господь его душу, — сказала она наконец, — отсрочил нам оброк на два года, когда град побил весь урожай оливок. Другой хозяин выгнал бы нас взащей — а он сказал: земля не виновата в божьем гневе, по дождём. Мы с мужем покойным до конца дней его благодарили. — Она помолчала, разглядывая свои натруженные руки. — Дай Бог, чтобы новый хозяин ваш оказался таким же. Хотя, — она искоса взглянула на меня с той крестьянской пронизательностью, что не нуждается в образовании, чтобы видеть правду, — судя по вашему лицу, сеньорита, вы сами в этом не уверены.

Я не нашла, что ответить, и вместо ответа лишь сжала её сухую, шершавую руку в своей — жест, который, как мне показалось, сказал больше, чем могли бы сказать любые слова, — и пошла дальше, к дому, чувствуя, как к тяжести матушкиных счетов прибавляется ещё одна: тяжесть чужих судеб,

что зависели теперь не только от арифметики приданого, но и от того, какое сердце будет биться под гербом Альба-и-Осорио, когда он станет хозяином этих земель.

* * *

К полудню в доме поднялась суэта иного рода — не хозяйственная, а праздничная, хотя праздник этот был для меня скорее испытанием. Приехали, как обычно по четвергам, мои подруги: Лусия де Мендоса, с которой мы делили одну колыбель — вернее, соседние, ибо матери наши рожали нас с разницей в неделю и с тех пор считали себя чуть ли не родней, — и Исабель Кастро, дочь местного врача дона Эстебана, чей острый язык и ещё более острый ум делали её, по мнению матушки, «неподходящей компанией», а по моему собственному мнению — единственной в наших краях женщиной, говорившей вслух то, что другие лишь думали.

Лусия вышла замуж два года назад — за дона Федерико Ортеня, человека вдвое старше её, владельца обширных виноградников под Хересом, и с тех пор приезжала к нам всё реже, а когда приезжала, привозила с собой ту особую, тщательно отрепетированную улыбку, какой женщины прикрывают вещи, о которых не принято говорить в приличном обществе. Исабель, напротив, замуж не спешила — к вящему отчаянию собственной матери — и объясняла это всем, кто готов был слушать, с обезоруживающей прямоотой: «Я видела, чем кончается спешка, сеньоры. Предпочитаю подождать и выйти по любви — либо не выходить вовсе».

Мы устроились в беседке у фонтана, там, где розовые кусты матушки создавали хоть какую-то тень от полуденного зноя, и служанка принесла нам лимонад и печенье с миндалём, какое пекла наша кухарка Хуана ещё с тех пор, как я была ребёнком.

— Ну что, — начала Исабель без всяких предисловий, обмахиваясь веером с той энергией, с какой она делала решительно всё, — правда ли, что герцог де Альба стар, лыс и пахнет нюхательным табаком? Так говорят в городе.

— Исабель! — Лусия укоризненно покачала головой, хотя в глазах её плясали смешинки. — Как можно так говорить о будущем муже Каталины.

— Он не стар, — сказала я, чувствуя, как краска против воли заливает мне щёки. — Ему тридцать четыре года. И не лыс, насколько я могу судить по портрету. Что до табака — не знаю, портреты не пахнут.

— Тридцать четыре — это не так и много, — рассудительно заметила Лусия, разглаживая складки платья тем автоматическим жестом, каким она в последнее время разглаживала решительно всё вокруг себя, будто пытаюсь навести порядок в чём-то, что порядку не поддавалось. — Дон Федерико был вдвое старше меня, когда мы поженились. Это не так уж страшно, Каталина. Со временем привыкаешь.

Что-то в её голосе — какая-то нотка, слишком тщательно выровненная, слишком похожая на утешение, которое человек в первую очередь адресует самому себе, — заставило ме-

ня посмотреть на неё внимательнее. Я не видела Лусию почти два месяца, с самой Пасхи, и теперь, приглядевшись, заметила то, чего не замечала прежде: тонкую морщинку между бровей, что появляется у людей, привыкших постоянно к чему-то готовиться; чуть потухший блеск глаз, какого не было у неё в девичестве; браслет на запястье — тяжёлый, дорогой, явно подаренный мужем, — который она то и дело трогала пальцами, точно проверяя, на месте ли он, будто это было не украшение, а кандалы, к которым нужно было привыкнуть считать красивыми.

— Привыкаешь, — повторила я тихо. — А любишь ли ты его, Лусия?

Повисла пауза — та особая, неловкая пауза, что возникает, когда вопрос задан слишком прямо для приличного разговора в беседе за лимонадом.

— Я его уважаю, — сказала наконец Лусия, и в голосе её прозвучала та же тщательно отмеренная ровность, что я слышала прежде в письмах герцога. — Он добр ко мне. Не стоит требовать от брака большего, Каталина. Любовь — это то, о чём пишут в романах, которые ты, помнится, так любила читать тайком от матушки. В жизни есть вещи понадёжнее.

— Какая чушь, — фыркнула Исабель, отставляя стакан с лимонадом с решительностью, не терпящей возражений. — Прости, Лусия, но это чушь, и ты сама знаешь это лучше меня. Я видела твои глаза на нашей последней встрече в городе, когда дон Федерико разговаривал с тем молодым челове-

ком из Мадрида — как бишь его, поэтом? Ты смотрела так, будто вспоминала, каково это — чувствовать что-то, кроме уважения.

— Исабель! — Лусия покраснела, и на этот раз краска не была ни притворством, ни следствием жары. — Ты не должна так говорить. Особенно при... — она осеклась, взглянув на меня с внезапной тревогой, будто испугалась, что сказала лишнее.

— Особенно при мне, — договорила я за неё, чувствуя, как в груди у меня становится тесно. — Потому что через два месяца я окажусь ровно в твоём положении, и вы обе это понимаете, только Лусия из деликатности молчит, а ты, Исабель, из принципа говоришь вслух.

— Именно, — не стала отпираться Исабель, глядя на меня с тем прямым, почти вызывающим сочувствием, за которое я так ценила её дружбу. — Каталина, я знаю тебя с пелёнок. Я видела, как ты плакала над «Дон Кихотом», потому что тебе было жаль Дульсинею, которую любят не такой, какая она есть, а такой, какой её выдумали. Не говори мне, что ты готова прожить всю жизнь чужой выдумкой о герцогине де Альба-и-Осорио.

— Кстати, о выдумках, — вставила вдруг Лусия, понижая голос до того особого, доверительного тона, каким в наших краях принято делиться слухами, не предназначенными для чужих ушей. — Отец мужа рассказывал недавно за ужином — он ведь знаком с семьёй Альба-и-Осорио ещё по Мадри-

ду, — что у герцога уже была невеста. Года три назад. Дочь какого-то каталонского графа.

Я почувствовала, как внутри у меня что-то напряглось.

— И что же случилось?

— Помолвка расстроилась, — сказала Лусия, — за месяц до свадьбы. И расстроил её вовсе не разбитое сердце, Каталина, — расстроил долг чести, вернее, полное отсутствие такового. Отец мужа говорил, что дон Родриго уже тогда слыл в Мадриде завсегдатаем игорных домов на калле Алькала, что проигрывал за одну ночь суммы, которых достало бы на приданое трём невестам разом, и что имя его слишком часто поминали в связи с некой известной танцовщицей из театра Реаль — поминали открыто, без всякой оглядки на приличия и на то, что молва рано или поздно достигнет ушей нареченной. Семья графа, узнав об этом, сама расторгла помолвку — не дожидаясь, пока позор долгов и любовниц падёт на голову их дочери вместе с фамильным гербом Альба-и-Осорио.

— Значит, не она его бросила, — сказала я медленно, чувствуя, как во мне что-то холодеет при мысли о письме, лежавшем этим самым утром подле моей тарелки, — а её семья бежала от него.

— Именно так, — подтвердила Лусия. — И с тех пор, отец мужа говорит, дон Родриго ничуть не переменился — только сделался осторожнее, скрытнее, научился вести свои дела так, чтобы скандал не достигал Андалусии прежде, чем до-

стигнет его самого. Мадрид, впрочем, помнит куда лучше, чем Кордова.

— Вот видишь, — заметила Исабель с мрачным удовлетворением человека, чья теория только что получила неожиданное подтверждение, — не одна ты в этих краях задумывалась, стоит ли выходить замуж по расчёту. Только теперь, Каталина, задумайся ещё и о том, за какого именно человека тебя просят выйти. Это не убитый горем вдовец, ищущий по свету доброе сердце взамен утраченного. Это игрок, что промотал одну невесту и теперь ищет другую — не любящую жену, а новое приданое, чтобы покрыть карточные долги, да покорную хозяйку дома, что не станет задавать вопросов о его отлучках в Мадрид.

— Или, — тихо добавила Лусия, и в голосе её прозвучала та горечь, что рождается только из собственного, невысказанного опыта, — просто ищет женщину, что будет достаточно благодарна за спасение своего имени, чтобы не заметить, чем на самом деле полны его карманы и его вечера.

Я не ответила сразу. Вместо этого смотрела на розовые кусты, на пчёл, деловито снующих между цветками, на белую крошку миндального печенья, оставшуюся на блюде, — на всё, что угодно, лишь бы не думать о том письме, что дожидалось меня к ужину, о человеке, что писал его, вероятно, между визитом к своему банкиру и вечером за карточным столом, и о том, что «дела», задерживавшие его в Мадриде, быть может, куда меньше касались поместий и куда больше

— долгов чести, которые, в отличие от долгов денежных, не всегда возможно погасить чужим приданым.

— У меня нет выбора, — сказала я наконец, и голос мой прозвучал тише, чем мне хотелось бы. — Вы обе знаете о наших делах. Без брака с герцогом мы потеряем поместье уже к следующей зиме. Матушка останется без крыши над головой в её годы. Слуги, что служили нашей семье поколениями, — Ремедиос, старый конюх Пако, кухарка Хуана, — все они лишатся места. Это не роман, Исабель. Это арифметика, и решать её приходится мне — даже если тот, кому эта арифметика достанется в придачу ко мне самой, окажется человеком, чьё имя связано скорее с игорным столом, чем с алтарём.

— Значит, ты уже всё решила, — сказала Исабель тихо, без прежнего задора, и в этой тихости было больше боли за меня, чем в любых громких протестах. — Что ж. Тогда позволь хотя бы спросить: есть ли то, ради чего тебе будет жаль этого решения? Что-то — или кто-то, — от чего придётся отказаться?

Вопрос повис в воздухе, густом от запаха роз и жасмина, и я вдруг с пугающей ясностью поняла, что мысленно уже смотрю не на подруг, а туда, за розарий, в сторону апельсиновой рощи, где в этот самый час, вероятно, Лео заканчивал свою утреннюю работу, ни о чём не подозревая насчёт разговора, что вёлся о его — хотя он сам того не знал — судьбе.

— Нет, — солгала я, и с ужасом почувствовала, как неубе-

дительно прозвучала эта ложь даже для меня самой. — Ничего такого.

Лусия посмотрела на меня долгим взглядом — тем взглядом, каким смотрят люди, узнающие в чужом лице собственное, давнее, ещё не до конца забытое отражение, — но ничего не сказала. А Исабель лишь покачала головой и заметила, наливая себе ещё лимонада с деланой беззаботностью:

— Что ж. Раз ничего такого, тогда и говорить не о чем. Хотя должна заметить, Каталина, — щёки у тебя порозовели вовсе не от жары, а глаза уже пять минут смотрят в сторону рощи, а не на нас. Впрочем, — она подмигнула мне с прежним своим лукавством, разряжая тяжесть, повисшую было над беседкой, — это не моё дело, а твоё. Расскажешь, когда захочешь. А захочешь, я уверена, скорее, чем думаешь.

* * *

После обеда, когда подруги уехали, а зной начал спадать, матушка позвала меня в свой кабинет — небольшую комнату рядом с библиотекой, куда она удалялась теперь чаще, чем в прежние годы, с тех пор как взяла на себя заботу о хозяйственных книгах. Я нашла её сидящей за отцовским письменным столом, среди стопок бумаг, и в руках у неё была связка писем, перевязанная выцветшей голубой лентой, — писем, которых я прежде никогда не видела.

— Каталина, — сказала она, не поднимая глаз, — я хочу, чтобы ты знала, во что нам обошлись последние три года. Не для того, чтобы упрекнуть тебя или заставить чувствовать

себя виноватой сильнее, чем ты, я вижу, уже чувствуешь. А для того, чтобы, когда придёт время подписывать брачный контракт, ты понимала — до последнего мараведи — цену того, что мы спасаем.

Она разложила передо мной бумаги — векселя, письма от ростовщиков из Малаги, оценки земель, что предстояло заложить или продать, если помолвка расстроится, — и я впервые за три года увидела истинный масштаб того разорения, что отец оставил нам вместе со своим неизменным добродушием и своей неизменной слепотой к деньгам.

— Он занимал у половины Андалусии, — сказала матушка тихо, и в голосе её прозвучала не злость, а какая-то очень старая, очень укоренившаяся усталость. — Занимал, чтобы одолжить друзьям. Занимал, чтобы устроить праздник в честь твоего рождения, который вся округа вспоминает до сих пор. Занимал, чтобы купить тебе того испанского жеребёнка, которого ты выпросила в шесть лет и на котором каталась ровно один сезон, прежде чем он вырос слишком велик для тебя. Я уважала твоего отца, Каталина, искренне и всем сердцем, — и научилась находить в этом уважении своё собственное подобие любви: к его щедрости до безрассудства, к его слепоте к завтрашнему дню. И теперь плачу по его счетам я. Точнее, — она подняла на меня глаза, в которых стояла та смесь мольбы и стали, что я так хорошо успела изучить за последний месяц, — теперь по ним заплатишь ты.

Я молчала, чувствуя, как груз этих цифр опускается мне

на плечи почти физически, вещественнее, чем любые слова герцога о его владениях от Кордовы до моря. Среди бумаг мелькнуло письмо, надписанное незнакомой мне рукой и адресованное некогда моему отцу, — я потянулась было к нему из простого любопытства, но матушка ловким движением прикрыла его ладонью, точно защищая от постороннего взгляда что-то, чему ещё не пришло время быть прочитанным.

— Не сейчас, Каталина, — сказала она тихо, и в голосе её впервые за весь разговор прозвучало что-то похожее на смущение. — Это... это к делу не относится. Семейная переписка, не более.

Я не стала настаивать, хотя тот беглый жест — торопливый, почти виноватый — врезался мне в память сильнее, чем сами счета и векселя, разложенные передо мной, и ещё долго потом заставлял меня гадать, что за тайна могла скрываться в связке писем, перевязанной выцветшей голубой лентой, которую матушка так спешила убрать с моих глаз.

— Я не жалею о судьбе, матушка, — сказала я наконец. — Я понимаю долг перед семьёй. Но позвольте спросить: неужели во всей этой арифметике нет места для меня самой? Для того, чего хочу я?

Матушка долго молчала, разглаживая ленту на связке писем тем же автоматическим жестом, каким Лусия разглаживала складки своего платья — жестом женщины, привыкшей умирять руками то, что не в силах умирить сердцем.

— Когда-нибудь, быть может, я расскажу тебе кое-что о желаниях и о долге, — сказала она наконец, и в голосе её прозвучало что-то, чего я прежде не слышала — не то сожаление, не то предостережение. — Но не сегодня. Сегодня, Каталина, я прошу лишь одного: помни, чего стоит наше спасение, когда в следующий раз твои глаза будут смотреть в сторону рощи дольше, чем позволяют приличия.

Я вздрогнула, услышав почти те же слова, что произнесла несколькими часами ранее Исабель, — и поняла с холодным, острым ужасом, что матушка тоже всё видит. Возможно, видела уже давно.

* * *

За ужином, поданным раньше обычного из-за духоты, что весь день не желала спадать, матушка была необычно молчалива — не той тяжёлой, полной невысказанных упреков молчаливостью, что случалась с ней после наших размолвок, а какой-то иной, задумчивой, будто продолжала мысленно спор, начатый в кабинете, уже без меня. Я едва притронулась к рыбе, что Хуана приготовила по случаю визита подруг, — вспоминала морщинку между бровей Лусии, скомканный, слишком поспешный отказ на собственный вопрос Исабель, старую Марту у колодца, — и потому не сразу заметила, что за столом появился третий предмет разговора, кроме молчания: письмо, лежавшее подле матушкиной тарелки, ещё не распечатанное.

— Из Мадрида, — сказала она наконец, перехватив мой

взгляд, и в голосе её прозвучала та особая осторожность, с какой говорят о вещах, способных обернуться как благом, так и бедой. — Почерк не герцога. Полагаю, от его поверенного — вероятно, что-то по поводу брачного контракта.

Она не стала распечатывать письмо при мне — отложила его на край стола с той нарочитой небрежностью, за которой я уже научилась распознавать самое настоящее беспокойство, — и я, поднявшись из-за стола раньше обычного под предлогом головной боли, унесла с собой не только усталость долгого дня, но и новое, ещё неоформившееся предчувствие: будто это письмо, кем бы оно ни было написано, станет первым камнем в той лавине, что вот-вот придёт в движение.

* * *

Вечером, оставшись одна в своей комнате, я долго сидела у окна, глядя, как последний свет угасает над рощей, окрашивая листву апельсиновых деревьев в тот глубокий, почти лиловый оттенок, какой бывает только в андалузских сумерках. Где-то там, за деревьями, в маленькой сторожке у ограды, Лео, вероятно, уже зажигал свечу, чтобы почитать перед сном один из своих потрёпанных томов, — а я думала о словах Исабель, о морщинке между бровей Лусии, о связке писем на отцовском столе, о нераспечатанном конверте из Мадрида, и обо всём том, что теперь неотвратимо надвигалось на меня вместе с каретой герцога, что должна была показаться на дороге ровно через две недели — если, конечно,

то письмо на краю обеденного стола не изменит этот срок раньше, чем я успею к нему подготовиться.

* * *

Уже собираясь ко сну, я не удержалась и достала из ящика туалетного столика миниатюру, что прислали нам месяц назад вместе с официальным предложением руки, — овальный портрет в тонкой золочёной рамке, на котором дон Родриго де Альба-и-Осорио был запечатлён в профиль, в тёмном сюртуке, с тем прямым, чуть надменным разворотом плеч, какой, вероятно, полагается иметь всякому, кто ведёт свой род от завоевателей Гранады.

Художник, надо отдать ему должное, был искусен: черты лица переданы точно, до последней морщинки у рта, — и всё же было в этом портрете нечто неуловимо неживое, будто художник изобразил не человека, а лишь безупречно исполненную маску человека. Глаза на портрете смотрели прямо, но не на зрителя, а сквозь него, точно герцог, даже позируя, продолжал думать о делах, не имеющих касательства к тому, кто будет разглядывать его изображение долгими андалузскими вечерами, пытаясь угадать в чертах будущего мужа хоть что-то, за что можно было бы зацепиться сердцем.

Я поставила миниатюру на столик рядом со свечой и долго вглядывалась в неё — уже не с прежним отстранённым любопытством, а с тем новым, тревожным вниманием, с каким разглядывают карту незнакомой, возможно опасной местности. Теперь, зная то, что рассказала Лусия, я будто раз-

личала в этом холодном, безупречно исполненном профиле нечто иное, чем прежде: не сдержанность человека, обжѣгшегося однажды на любви, а расчѣтливость игрока, привыкшего скрывать свои истинные ставки за невозмутимым лицом. Чем дольше я смотрела на портрет, тем сильнее в памяти всплывало другое лицо — не написанное красками, а живое, с глазами цвета тёплой земли, с той медлительной, внимательной серьёзностью, с какой оно всегда обращалось ко мне не как к невесте герцога, а просто как к Каталине.

Я убрала портрет обратно в ящик, точно пряча улику против самой себя — хотя теперь мне казалось, что улику следовало бы прятать не мне, а тому человеку, что смотрел с миниатюры так спокойно, будто ему нечего было скрывать, — и задула свечу.

* * *

Сон не шѣл ко мне в ту ночь, и я, набросив на плечи шаль, спустилась вниз — не в сад, куда меня тянуло сильнее всего, а в библиотеку, где надеялась найти хоть какое-то чтение, способное отвлечь разум от круговорота одних и тех же тревожных мыслей. Дверь в кабинет матушки оказалась приоткрыта, и оттуда, из полумрака, доносились голоса — её собственный и ещё один, незнакомый, низкий, принадлежавший, судя по всему, доктору Киросу, нашему нотариусу, чей приезд в столь поздний час сам по себе был красноречивее всяких слов.

Я знаю, что подслушивать чужие разговоры недостойно

благовоспитанной сеньориты. Знаю это так же твёрдо, как знаю таблицу умножения или молитву «Отче наш». И всё же в ту ночь, стоя у приоткрытой двери с бьющимся сердцем, я не нашла в себе сил уйти.

— ...до конца месяца, донья Виолета, не позже, — говорил доктор Кирос тем ровным, лишённым сочувствия тоном, каким люди его ремесла привыкли сообщать самые неприятные вести. — Малагские кредиторы более не намерены ждать. Либо контракт с герцогом будет подписан и часть суммы выплачена из приданого, либо я не смогу поручиться, что поместье Вильянуэва не пойдёт с молотка ещё до наступления зимы.

— Она ещё не знает всей правды, — сказала матушка тихо, и в голосе её прозвучала та обнажённая, беззащитная усталость, какую я никогда не слышала от неё при свете дня. — Я показала ей счета, доктор Кирос, но не решилась сказать, что если помолвка расстроится по её вине — по любой причине, которую свет сочтёт легкомысленной, — герцог, согласно предварительному уговору, не будет обязан возмещать нам ничего. Ни единого мараведи из тех, что мы уже потратили на приготовления, полагаясь на его слово.

— Тогда, быть может, стоит сказать ей это прямо, — заметил доктор Кирос без особой мягкости. — Молодые сеньориты порой нуждаются в ясности более, чем в жалости.

— Я скажу, — ответила матушка после долгой паузы. — Когда буду знать, что она готова услышать это, не вознена-

видев меня и не возненавидев саму мысль о браке ещё сильнее, чем уже, боюсь, ненавидит.

Я отступила от двери так тихо, как только могла, и поднялась к себе, чувствуя, как земля — та самая земля, что, казалось, ещё утром пахла свободой и апельсиновым цветом, — уходит у меня из-под ног куда стремительнее, чем я могла вообразить хотя бы часом раньше. Не долг сам по себе страшил меня в ту минуту — к цифрам я уже начинала привыкать, как привыкают к тяжести, которую носят достаточно долго. Страшило другое: мысль о том, что моё сердце, о котором так уверенно говорила Исабель в саду, значило в этом уравнении даже меньше, чем я предполагала прежде, — что оно было не просто необязательной роскошью, а прямой угрозой всему, ради чего работала, страдала и лгала себе моя собственная мать.

Я не знала тогда, в тот тихий, наполненный тревогой вечер, что не пройдёт и месяца, как всё, что казалось мне лишь смутным предчувствием беды, обернётся вполне вещественной, оглушительной правдой. Не знала, что подруги мои — каждая своим собственным, непохожим путём — окажутся втянуты в историю, что назревала в нашем доме, как назревает гроза в неподвижном, слишком тяжёлом от зноя воздухе. Не знала, что тот самый герцог, чей портрет я разглядывала с холодным, отстранённым любопытством, привезёт с собой не только спасение для нашего имени, но и нечто куда более опасное — способность видеть людей насквозь, вклю-

чая то, что они сами предпочли бы не видеть в себе. Знала лишь одно, с той ясностью, что приходит порой на исходе долгого, тяжёлого дня: что-то в моей жизни уже начало меняться безвозвратно, ещё до того, как чёрный экипаж с гербом Альба-и-Осорио впервые покажется на нашей аллее. И что перемены эти, что бы они ни принесли мне в конечном счёте — счастье или разорение сердца, — уже нельзя было остановить, как нельзя остановить апельсиновые деревья, что цветут не потому, что решают, а потому, что не могут иначе.

Глава вторая. Письмо

Я почти не спала в ту ночь — не после разговора, случайно услышанного за приоткрытой дверью кабинета, а после него в буквальном смысле: до самого рассвета я пролежала без сна, глядя в темноту балдахина над кроватью и снова и снова слыша ровный, лишённый сочувствия голос доктора Кироса, произносящий слово «долг» с той же обыденностью, с какой иной человек произносит слово «погода».

К завтраку я спустилась с тем особым, стеклянным спокойствием, что приходит на смену бессоннице, — спокойствием, за которым прячется не отдых, а лишь крайняя степень усталости, слишком глубокая, чтобы позволить себе тревогу. Матушка уже сидела за столом, и по тому, как она держала в руках вчерашнее письмо — то самое, нераспечатанное, что весь вечер пролежало на краю обеденного стола, точно предостережение, которое никто не решался прочитать вслух, — я поняла, что этот день начнётся не с молитвы и не с хозяйственных распоряжений, а с чего-то куда более определяющего.

— Из Мадрида, я вчера говорила, — сказала она, не поднимая глаз, разламывая сургучную печать тем нарочито будничным движением, каким люди обычно пытаются убедить самих себя, что не боятся того, что вот-вот прочтут. — Полагаю, всё же от поверенного дона Родриго. Дела контракта.

Но, пробежав глазами первые строки, она переменялась в лице — не побледнела, как я опасалась, а, напротив, чуть по-розовела, точно от облегчения, смешанного со смущением.

— Нет, — сказала она тихо. — От него самого.

* * *

«Сеньорита де Вильянуэва,

Дела задерживают меня в Мадриде долее, чем я рассчитывал, однако я предвкушаю нашу встречу с нетерпением, приличествующим жениху. Полагаю, ваша матушка уже распорядилась о подготовке дома к моему визиту. Смею надеяться, что и вы найдёте время подготовиться — к роли, которая вас ожидает.

Ваш покорный слуга,

Родриго де Альба-и-Осорио»

Я перечитала письмо трижды, ища в нём хоть слово, обращённое ко мне самой, а не к «роли», что меня ожидала, — слово о погоде в Мадриде, о том, скучает ли он по андалузскому солнцу, о том, какие книги читает в часы досуга, о чём угодно, что позволило бы мне представить его не гербом на конверте, а живым человеком. Не нашла. Письмо было безупречно составлено, безупречно учтиво и настолько же безлико, насколько безлик бывает счёт из модной лавки — перечень услуг, оказанных за оговорённую плату.

— Ну? — матушка стояла у окна, сцепив руки с той нервной аккуратностью, с какой она держала руки всегда, когда боялась, что они задрожат. — Что он пишет?

— Что дела задерживают его в Мадриде, — сказала я, откладывая письмо на скатерть.

— И только? — в её голосе послышалось разочарование, которое она тут же поспешила спрятать за деловитой улыбкой. — Что ж. Значит, у нас есть время подготовить дом как должно. Свадьба всё равно назначена на осень, эта отсрочка ничего не меняет по существу.

Я не сказала ей того, что читалось между строк письма герцога так же ясно, как между строк вчерашнего разговора с доктором Кирсом: что отсрочка меняет очень многое, если считать не месяцами до свадьбы, а неделями до срока, что дал матушке малагский кредитор. Но я промолчала, потому что видела — матушка уже нашла в этой отсрочке то небольшое утешение, что была готова себе позволить, и я не собиралась отнимать его у неё за завтраком.

* * *

К полудню дом гудел так, как гудит улей, потревоженный неосторожной рукой. Матушка, вооружившись счётной книгой и той решимостью, что появлялась у неё всегда, когда требовалось превратить тревогу в действие, обходила комнаты за комнатой, отдавая распоряжения с быстротой, не оставлявшей никому времени на возражения.

— Портьеры в парадной зале нужно снять и перевесить изнанкой наружу, — говорила она Соледад, нашей горничной, семенившей за ней с блокнотом. — При свечах разницы никто не заметит, а нам не по карману новый бархат к

октябрю.

— Хуана, — обратилась она к кухарке, встретившей нас на пороге кухни с тем выражением обречённого достоинства, с каким повара встречают известие о предстоящем банкете при опустевшей кладовой, — герцог, по слухам, привержен французской кухне. Придётся послать в Кордову за шафраном и настоящим бордоским вином, хотя одному Богу известно, из каких денег.

— Из тех же, из каких мы платили за похороны сеньора, упокой Господь его душу, — пробормотала Хуана себе под нос, но достаточно громко, чтобы матушка услышала и смерила её взглядом, впрочем, лишённым настоящего гнева: Хуана служила у нас с тех пор, как матушка сама была невестой, и подобная фамильярность давно стала между ними своего рода языком, понятным только им двоим.

Меня же матушка отправила к Соледад — примерять то самое подвенечное платье, вернее, лишь его первый, ещё не доведённый до ума остов, наскоро сметанный из старого бабушкиного шёлка, что берегли в сундуке добрых сорок лет в ожидании случая, достойного его происхождения. Соледад закалывала булавками нескончаемые складки у моей талии, время от времени вынимая изо рта булавку, чтобы заметить что-нибудь о погоде или о видах на урожай маслин, — и я стояла неподвижно, как стоят статуи святых на процессии, глядя в зеркало на женщину, в которую медленно, стежок за стежком, превращалась.

— Вы бледны, сеньорита, — сказала наконец Соледад, откладывая булавки. — Плохо спали?

— Плохо, — призналась я. — Мысли одолевали.

— Оно и понятно, — она вздохнула с той простой, беззлобной мудростью, что отличает людей, проживших жизнь у чужих зеркал, наблюдая чужие судьбы со стороны. — Свадьба свадьбой, а сердце-то не спросишь, оно своё всё равно скажет, рано ли, поздно ли.

Я не ответила, но слова эти — сказанные без всякой задней мысли, просто так, между двумя булавками, — засели во мне глубже, чем иная нарочитая проповедь.

* * *

Освободившись наконец от булавок и от платья, всё ещё пахнувшего сундучным лавандовым мешочком, я воспользовалась тем недолгим часом, что матушка проводила с падре Игнасио, заехавшим обсудить порядок венчания, чтобы проскользнуть в её кабинет — та самая комната, где несколько ночей назад я стояла за приоткрытой дверью, слушая слова доктора Кироса, что до сих пор отзывались во мне холодом. Связка писем, перевязанная голубой лентой, о которой я спрашивала донью Ремедиос, лежала на прежнем месте — в верхнем ящике секретера, не запертом, будто матушка полагала, что достаточно спрятать тайну на виду, среди счетов и квитанций, чтобы никто не додумался искать её там.

Я знаю, что читать чужие письма — грех вдвойне тяжелее, чем подслушивать чужие разговоры за дверью. И всё же рука

моя, точно принадлежавшая уже не мне, а той новой, куда менее послушной Каталине, что рождалась во мне день ото дня, потянулась к ленте и распустила узел.

Письма — их было не меньше дюжины — оказались надписаны одним и тем же почерком, крупным, торопливым, мужским, и датированы годом, что предшествовал смерти отца, — годом, когда мне едва исполнилось девятнадцать. Обратный адрес на первом же конверте заставил меня замереть: Мадрид, улица Алькала, дом виконта де Аранда.

Виконт де Аранда. Тот самый, чью помолвку с Исабель она сама расторгла два года назад, — о чём Исабель говорила без утайки, но ни разу не упомянула, что человек этот когда-то, ещё до неё, просил разрешения писать мне: мне, девятнадцатилетней, тогда ещё не помышлявшей ни о каком замужестве, поглощённой лишь музыкой да несбыточными мечтами, свойственными этому возрасту. Отец, я теперь вспоминала, действительно упоминал однажды за ужином некоего виконта, что имел неосторожность просить его позволения на переписку со мной, — и отец, тогда ещё полный сил и планов на моё будущее, отказал, найдя молодого человека недостаточно серьёзным для дочери Вильянуэва. Письма, надо думать, всё же были написаны — и перехвачены, но не уничтожены, а сохранены, точно матушка сама не могла решить, есть ли в них что-то, что мне следовало бы прочесть однажды, годы спустя, когда отказ этот перестанет иметь хоть какое-то значение.

Дверь скрипнула прежде, чем я успела распечатать хоть одно письмо. Донья Ремедиос стояла на пороге с тем выражением, что бывает у человека, давно ожидавшего этой минуты и всё же не готового к ней до конца.

— Не здесь, сеньорита, — сказала она тихо, но твёрдо, забирая связку у меня из рук с осторожностью, с какой обращаются с чем-то давно отжившим, но всё ещё способным ранить. — Это старая история, сеньорита. Виконт де Аранда просил у покойного сеньора позволения ухаживать за вами, когда вам было девятнадцать, а он ещё не помышлял о сеньорите Исабель. Ваш батюшка отказал ему, полагая, что для наследницы Вильянуэва сыщется партия познатнее захудалого виконтства. Ирония в том, — добавила она с горькой полуулыбкой, — что захудалый виконт оказался бы, пожалуй, добрее к вам, чем герцог с тремя поместьями.

— Почему мне никто не рассказывал?

— Потому что ваш отец умер вскоре после того отказа, и матушке вашей не хватило духу признаться, что решение это, быть может, оказалось поспешным, — сказала донья Ремедиос, убирая связку в карман передника. — Сожалеть о мёртвых куда труднее, чем сожалеть о живых, сеньорита. Живым можно, по крайней мере, написать письмо с опозданием на пять лет. Мёртвым — уже нет.

Она удалилась, оставив меня в опустевшем кабинете с новым, непрошеным знанием: что даже отец мой, при всей своей щедрости и слепоте к завтрашнему дню, распорядился

моим сердцем так же уверенно, как теперь распоряжалась им матушка, — и что единственная разница между виконтом де Аранда и Леом состояла не в достоинствах того или другого, а лишь в том, что один из них происходил из рода, показавшегося отцу достаточно знатным для переписки, а другой не происходил из рода вовсе.

* * *

Исабель явилась без предупреждения, как это было ей свойственно, — верхом, в амазонке, что вызвала бы у матушки не один укоризненный взгляд, не будь матушка в ту минуту занята препирательством с садовым мальчиком по имени Пеппе о том, сколько роз потребуется для убранства парадной залы.

— Я узнала о письме, — объявила Исабель, ещё не сойдя с седла, будто новость эта была слишком важна, чтобы дожидаться приличествующего случаю приветствия. — Весь Эсиха уже знает, что герцог задерживается в Мадриде. Полагаю, эту весть принёс тот же курьер, что доставил письмо, — а курьеры, как известно, не умеют держать язык за зубами лучше кухонной прислуги.

Она спешила с той ловкостью, что не оставляла сомнений: верховая езда была для Исабель не данью моде, а истинной страстью, — и, взяв меня под руку, повела в сторону сада с уже привычной решимостью заговорщицы.

— Ну, рассказывай, — потребовала она, как только мы удалились на достаточное расстояние от дома. — Что он пи-

шет? Признания в вечной любви, надеюсь, не было?

— Не было, — сказала я, и, к собственному удивлению, вдруг рассмеялась — тем нервным, освобождающим смехом, что прорывается после долгого дня, проведённого в чрезмерной серьёзности. — Было слово «роль». К которой мне надлежит подготовиться.

— Как романтично, — фыркнула Исабель. — Что ж, по крайней мере, честно. Не буду делать вид, что удивлена: с таким женихом трудно ждать сонетов. — Она внимательно на меня посмотрела, и весёлость в её взгляде на мгновение сменилась чем-то более серьёзным. — Каталина, ты сама на себя не похожа. Что случилось? И не говори мне про письмо — письмо тебя расстроило не так сильно, как что-то другое.

Я долго молчала, разрываясь между желанием облегчить душу и матушкиным строгим наказом никому не говорить о делах имения. Но Исабель умела ждать так, что молчание становилось невыносимее любого вопроса, и в конце концов я сдалась — рассказала ей о разговоре с доктором Кирсом, что услышала накануне ночью через приоткрытую дверь: о сроке до конца месяца, о том, что герцог, согласно уговору, не обязан возместить нам ничего, если помолвка расстроится по причине, которую свет сочтёт легкомысленной.

Лицо Исабель, обычно такое живое, застыло в выражении, какого я у неё прежде не видела, — смеси гнева и той особой боли, что чувствует человек, узнавший о несправедливости, причинённой не ему самому, а тому, кого он любит.

— Это чудовищно, — сказала она наконец. — Значит, тебя не просто отдают замуж без любви, да ещё и за человека с подмоченной репутацией. Тебя ещё и держат в заложницах — стоит тебе передумать, и вся вина, весь долг, всё разорение падёт на твою мать, на слуг, на арендаторов, что зависят от вашей земли. Он — или те, кто составлял этот контракт от его имени, — выстроили это так, чтобы у тебя попросту не осталось выбора, даже иллюзии выбора.

— Матушка не виновата, — сказала я тихо. — Она делает то единственное, что умеет делать хорошая мать в её положении.

— Я знаю, — Исабель сжала мою руку. — Я не сужу твою мать, Каталина. Я сужу мир, что заставляет матерей выбирать между сердцем дочери и крышей над её головой, будто это вообще возможно взвесить на одних весах. — Она помолчала, потом добавила тише, с той рассудительностью, что появлялась у неё в редкие минуты серьёзности: — Помнишь, я рассказывала тебе о прежней невесте герцога? О дочери каталонского графа?

— Помню. О его карточных долгах и той танцовщице из театра Реаль.

— Кузина написала мне ещё кое-что, чего я не решилась сказать при твоей матушке. Она пишет, что перед самым разрывом помолвки в доме де Гусман разразился настоящий скандал — не тихий, благородный отказ по взаимному согласию, как принято говорить теперь в свете, а нечто, потре-

бывавшее вмешательства самого архиепископа. Дон Родриго, если верить кухне, явился однажды ночью в дом графа пьяным, с двумя приятелями столь же сомнительной репутации, и потребовал у будущего тестя новую отсрочку по векселю, который тот имел неосторожность подписать в его пользу за месяц до того. Разговор, по слухам, дошёл до такого крика и таких угроз, что графу пришлось звать слуг, а после — самого архиепископа, дабы уладить дело без огласки и без дуэли, которую сгоряча предлагал младший брат невесты.

Я почувствовала, как холод, уже знакомый мне по вчерашнему разговору у кабинета, снова пробежал у меня по спине.

— И после этого его всё равно принимают в лучших домах Андалусии, — сказала я тихо, — сватают за меня, точно ничего не случилось.

— Титул и три поместья прощают многое, Каталина, — ответила Исабель с горечью, что была ей несвойственна в обычные дни. — Свет умеет быть слепым, когда слепота выгодна. Я не полагаю, будто знаю о доне Родриго всё, — прибавила она осторожнее. — Быть может, кухня преувеличивает, как преувеличивают все, у кого чужая беда под рукой для доброго ужина в компании. Но я прошу тебя быть внимательной. Не пугливой без причины — просто внимательной. Правда о человеке видна не в том, что он пишет о себе в письмах о «ролях» и подготовке, а в том, о чём предпочитают молчать люди, знавшие его прежде тебя.

* * *

Лусия приехать не смогла — прислала записку с посылным, сухую и короткую, извиняясь тем, что дон Федерико ожидает гостей по делам виноторговли и требует её присутствия за столом. В конце записки, однако, была одна строчка, приписанная явно уже после того, как остальное письмо было запечатано, судя по тому, как торопливо и неровно легли буквы: «Думаю о тебе чаще, чем ты можешь предположить. Будь осторожна в своих желаниях, Каталина, — не потому, что они дурны, а потому, что мир умеет наказывать за них тех, кто позволяет себе их иметь». Я перечитала эту строчку несколько раз, не зная, что тревожит меня в ней больше — сама горечь признания или то, что Лусия, обычно такая осторожная в словах, решилась доверить его бумаге, пусть даже придётся сжечь записку сразу после прочтения, чего я, разумеется, не сделала, а спрятала в шкатулку, туда же, где хранила первый засушенный цветок жасмина, сорванный ещё в детстве.

* * *

День выдался долгим и душным, из тех, что в Андалусии кажутся нескончаемыми, — с той особой, вязкой жарой, что держится даже после захода солнца, точно сама земля не желает расставаться с накопленным за день зноем. К ужину матушка, утомлённая распоряжениями, была молчалива, а я, отговорившись усталостью, ушла к себе раньше обычного — впрочем, лишь для того, чтобы, дождавшись, пока дом стихнет, снова выскользнуть на галерею, куда меня теперь тянуло

с постоянством, которому я уже не пыталась противиться.

Лео заканчивал поливать герань в горшках вдоль стены и, увидев меня, кивнул с той сдержанностью, которая у слуг заменяет разговор при свидетелях, — но сейчас, когда двор был пуст, а окна дома темны, в этом кивке читалось нечто большее: облегчение человека, для которого мои вечерние появления стали такой же необходимой частью дня, как для меня самой.

— Герцог задерживается в Мадриде, — сказала я, сама не зная зачем, присаживаясь на низкую каменную скамью у стены, где прохлада камня хоть немного спорила с духотой вечера.

Он не удивился, что я делюсь с ним такими вещами. Не спросил, почему я говорю об этом ему, а не матушке или падре Игнасио, — он никогда не задавал подобных вопросов, будто заранее знал на них ответ и полагал излишним заставлять меня произносить его вслух.

— Значит, у сада есть ещё несколько недель, — сказал он, откладывая лейку, — чтобы зацвести как следует к его приезду.

Я не сразу поняла, шутит ли он или говорит буквально. А потом поняла — и то, и другое, — и невольно улыбнулась, впервые за весь этот долгий, изматывающий день.

— Вы всегда говорите о саде так, будто он и есть единственная правда, которой можно доверять, — заметила я.

— Потому что это так, — сказал Лео просто, присажива-

ясь на противоположный край скамьи, на почтительном, но не слишком большом расстоянии. — Люди лгут — из вежливости, из страха, из расчёта. Даже себе лгут, а уж друг другу — тем более. Дерево не умеет лгать, сеньорита. Оно либо цветёт, либо нет. Либо больно, либо здорово. В нём нет места притворству, потому что притворство требует ума, способного вообразить иное, чем есть, — а дереву не нужно ничего воображать. Ему нужно лишь быть тем, что оно есть.

— Завидная участь, — сказала я тихо.

— Завидная и жестокая, — возразил он. — Дерево не выбирает, где ему расти. Не может сняться с места и уйти, если земля вокруг него оказалась не той, в которой оно способно цвести. В этом его правда, но в этом же и его беда.

Я посмотрела на него внимательнее, чем позволяли приличия, — и вдруг с необычайной остротой поняла, что он говорит не только о деревьях.

— А если бы сад мог решать, — спросила я тише, чем следовало бы, чувствуя, как голос мой предательски дрожит, — зацвёл бы он вообще? Или предпочёл бы остаться голым, лишь бы не цвести для чужой прихоти?

Лео долго молчал, глядя не на меня, а куда-то в темноту рощи, где последние отсветы дня уже гасли за силуэтами апельсиновых деревьев.

— Сад цветёт не потому, что решает, сеньорита, — сказал он наконец, и в голосе его прозвучала та тяжесть, что появляется у человека, произносящего не отвлечённую мудрость, а

нечто выстраданное, касающееся его самого не меньше, чем меня. — Он цветёт, потому что не может иначе. В этом его беда. И его правда.

— А вы, Лео? — спросила я, не в силах остановить себя, хотя знала, что вопрос этот опасен настолько, насколько вообще может быть опасен вопрос, заданный в тёмном саду немолодому по годам, но юному по должности садовнику наследницей поместья. — Вы тоже не можете иначе?

Он повернулся ко мне — медленно, будто вопрос застал его врасплох, хотя я подозревала, что застал он его не врасплох, а лишь заставил произнести вслух то, что он давно уже знал о себе сам.

— Нет, сеньорита, — сказал он тихо. — Не могу. И, видит Бог, пытался — эти последние месяцы пытался убедить себя, что могу, что найду в себе довольно благоразумия, чтобы просто делать свою работу и не поднимать глаз, когда вы проходите мимо. Не преуспел ни на пядь.

Тишина, повисшая между нами после этих слов, была такой плотной, что я слышала биение собственного сердца отчётливее, чем стрекот цикад в роще. Я знала, что должна встать, пожелать ему доброй ночи и уйти в дом, как подобает благовоспитанной невесте герцога, — и знала также, с той же ясностью, что не сделаю этого, во всяком случае не в эту минуту.

— Исабель узнала от кузины ещё кое-что о прежней помолвке герцога, — сказала я вместо этого, меняя разговор

ровно настолько, чтобы дать нам обоим короткую передышку от опасной прямоты. — О скандале, что случился перед самым разрывом. О карточных долгах, о дурной компании, о том, что дело едва не дошло до дуэли и уладить его смог лишь архиепископ.

Лео нахмурился — не с любопытством, а с той тяжёлой, тревожной серьёзностью, что появляется у человека, услышавшего не праздную сплетню, а весть, касающуюся судьбы кого-то, о ком он заботится больше, чем смеет показать.

— Не о герцоге я думаю, слушая это, сеньорита, — сказал он медленно, — а о вас. Человек, что позволяет себе подобное с чужими людьми, вряд ли переменится, обвенчавшись с новой женой, — разве что научится прятать это лучше, чем прежде. — Он помолчал, глядя куда-то в темноту рощи. — Простите мне дерзость. Не моё дело судить тех, кто выше меня по рождению.

— Ваше мнение, — сказала я тихо, — заботит меня куда больше, чем мнение доброй половины Андалусии, Лео. Не смейте называть это дерзостью.

Он посмотрел на меня так прямо, что я почувствовала, как краска заливает мне щёки, невидимая, по счастью, в темноте.

— Не будем говорить о герцоге, — сказала я поспешно. — По крайней мере не сегодня.

— Как пожелаете, сеньорита, — согласился он с той полуулыбкой, что появлялась у него всякий раз, когда он поз-

волял себе маленькую вольность в разговоре со мной. — О чём же тогда будем говорить?

— О розах, — сказала я, и на этот раз рассмеялась уже без всякой натянутости. — Расскажите мне о розах. Это, по крайней мере, безопасно.

И он рассказывал — о прививках, о том, какие сорта лучше переносят андалузское лето, о старой розе, что цвела у восточной стены ещё до его рождения и которую его отец, старый Тадео, называл «упрямицей» за то, что она отказывалась цвести по расписанию, предпочитая собственный, необъяснимый календарь. Я слушала его голос, низкий и ровный, глядя на звёзды, что понемногу проступали над рощей, и думала о том, что, быть может, во всём этом безумном, расчётливом мире, где даже моё собственное сердце превратилось в пункт брачного контракта, есть всё же одно место, где я по-настоящему свободна, — эта самая скамья, этот самый сад, этот самый час между закатом и той минутой, когда благоразумие снова потребует от меня вернуться в дом.

* * *

Уже поднимаясь к себе, я застала в коридоре донью Ремедиос — она несла стопку свежего белья и, увидев меня, остановилась, окинув взглядом мою примятую юбку и выбившуюся из причёски прядь волос с той пронизательностью, что не нуждалась в словах, чтобы быть понятой.

— Поздно гуляете, сеньорита, — заметила она без всяко-

го осуждения в голосе, скорее с тем же спокойным констатирующим тоном, каким сообщала бы о перемене погоды.

— Ночь была тёплая, — сказала я, чувствуя, как неубедительно звучит эта отговорка даже для меня самой.

Донья Ремедиос ничего не ответила — лишь посмотрела на меня чуть дольше обычного, и в этом взгляде было не осуждение, а нечто похожее на печаль пополам с пониманием, свойственным людям, что видели на своём веку достаточно похожих историй, чтобы не удивляться новой, но и не суметь предотвратить её повторения.

— Спокойной ночи, донья Ремедиос, — сказала я, поспешно проходя мимо.

— Спокойной ночи, сеньорита Каталина, — ответила она мне вслед, и в голосе её прозвучало нечто, весьма похожее на предостережение, произнесённое, впрочем, слишком тихо, чтобы я могла быть уверена, не почудилось ли оно мне.

* * *

У себя в комнате, уже раздевшись ко сну, я долго сидела у открытого окна, вспоминая слова Лео о деревьях, что не умеют лгать, — и думала о том, что письмо герцога, лежавшее теперь в ящике моего столика рядом с давно позабытой миниатюрой, было, пожалуй, самым честным документом во всей этой истории, при всей своей холодности. Оно, по крайней мере, не притворялось тем, чем не было. Оно называло вещи своими именами: роль, подготовка, покорный слуга. Оно не лгало мне о любви, которой не существовало, — в

отличие от того, что я сама, быть может, начинала лгать себе о собственном сердце, убеждая его, что вечерние прогулки по саду не более чем невинная слабость перед свадьбой, а не то, чем они являлись на самом деле: медленным, необратимым прощанием с той жизнью, что мне полагалось прожить, ради той, что я, вопреки всякому благоразумию, начинала желать всё сильнее.

Где-то за полночь, когда я уже задула свечу, мне почудился в коридоре тихий стук — не в мою дверь, а дальше, в сторону матушкиной комнаты, — и приглушённые голоса, один из которых, я готова была поклясться, принадлежал не кому-то из домашних, а человеку с улицы, явившемуся в такой поздний час с вестями, что не терпели отлагательства до утра. Я не решилась встать и проверить — усталость дня взяла своё прежде, чем любопытство успело перебороть сон, — но заснула в тот вечер с отчётливым, тревожным ощущением, что дом наш, при всей своей внешней неподвижности, живёт какой-то иной, скрытой от меня жизнью, полной вестей, счетов и решений, что копятя во тьме, точно грозовые тучи над андалузской долиной, ожидая лишь часа, чтобы разразиться ливнем, какого никто из нас ещё не готов был встретить.

Глава третья. Экономка

Донья Ремедиос служила в доме Вильянуэва ещё при жизни моего деда и видела, кажется, всё, что происходило под этой крышей за последние сорок лет, — рождения и смерти, разорения и внезапные удачи, тайные слёзы за плотно закрытыми дверями и ту особую, невысказанную боль, что копится в стенах старого дома быстрее, чем пыль на чердачных балках. От неё ничего нельзя было утаить — я поняла это ещё в детстве, когда пыталась спрятать разбитую вазу за портьерой, и она нашла осколки прежде, чем я успела придумать сколько-нибудь правдоподобную историю об их исчезновении.

Сама она замуж так и не вышла — по какой причине, домашние предания умалчивали столь же упорно, сколь охотно судачили о менее значительных предметах. Матушка как-то обмолвилась, что в молодости донья Ремедиос была помолвлена с управляющим соседнего имения, но свадьба расстроилась то ли из-за холеры, унёсшей жениха за три недели до венчания, то ли из-за какой-то давней размолвки — версии расходились в зависимости от того, кто из старших слуг их пересказывал. Донья Ремедиос сама никогда об этом не заговаривала, и в доме давно установилось молчаливое соглашение не бередить эту тему, точно старую рану, что зажила снаружи, но при неосторожном прикосновении могла

отозваться болью где-то в самой глубине. Быть может, именно поэтому она с такой безошибочной точностью угадывала подобную же боль в других — в тётушке Пилар когда-то, во мне теперь.

После разговора о письмах виконта де Аранда — того разговора, что оставил во мне куда больше вопросов, чем ответов, — я стала замечать в донье Ремедиос нечто новое: не отчуждённость, вовсе нет, но ту особую осторожность, с какой обращаются с человеком, которому случайно открыли дверь в комнату, полную чужих тайн, и теперь опасаются, не потянется ли он открывать и прочие двери, доселе запертые. Я, со своей стороны, не торопила её — чувствовала, что доверие, подобное её доверию, взращивается не расспросами, а терпением, тем самым терпением, какому меня, сама того не желая, учил Лео всякий раз, когда говорил о розах, что раскрываются не по приказу, а по собственному, неведомому нам календарю.

Мне вспомнился один давний вечер, когда мне было лет десять и я, не в силах уснуть от лихорадки, застала донью Ремедиос сидящей в одиночестве на кухне с шитьём в руках, хотя час был по-настоящему поздний даже для человека её неутомимости. На столе перед ней стояла маленькая, потускневшая от времени серебряная брошь в форме ласточки — брошь, каких я никогда прежде на ней не видела и никогда не видела впоследствии. Заметив меня в дверях, она поспешно убрала брошь в карман передника с торопливостью, какой я

прежде за ней не замечала, и весь остаток того вечера, укладывая меня обратно в постель и меряя лоб холодной тряпичей, была необычно, непривычно молчалива. Тогда я не придавала этому значения — детская лихорадка вытесняет из памяти всё, кроме собственного недомогания, — но теперь, годы спустя, мне казалось, что брошь эта, быть может, была единственным вещественным осколком той самой истории, о которой домашние предания умалчивали столь упорно, — единственным, что донья Ремедиос позволяла себе доставать из тайника раз в год, в одной ей известную годовщину.

* * *

Она нашла меня утром в бельевой, куда я удалилась под предлогом пересчёта скатертей для будущего официального ужина — того самого, что матушка уже назначила на последнюю неделю месяца, когда, как она надеялась, герцог наконец прибудет из Мадрида и сможет быть представлен всей округе как жених, чьё промедление объясняется лишь неотложными делами, а не чем-либо, что могло бы бросить тень на его — или наше — доброе имя.

— Сеньорита, — сказала донья Ремедиос, не поднимая глаз от простыней, которые складывала с той же неспешной точностью, с какой Лео обрезал ветви, — вечерний воздух в галерее вреден для лёгких. Я бы на вашем месте выходила туда пораньше, засветло.

Я почувствовала, как краска заливает мне щёки, — не столько от смущения перед самим замечанием, сколько от

того, с какой лёгкостью эта женщина умела угадывать вещи, что я полагала надёжно скрытыми даже от собственного отражения в зеркале.

— Я не понимаю, о чём вы, донья Ремедиос.

— Разумеется, не понимаете. — Она наконец подняла взгляд, и в нём не было ни осуждения, ни насмешки — только усталая доброта человека, повидавшего слишком много подобных историй, чтобы удивляться ещё одной. — Я служила вашей тётушке Пилар, царствие ей небесное. Она тоже когда-то думала, что вечера в саду проходят незамеченными.

— И чем это кончилось? — спросила я тише, чем хотела, чувствуя, как во мне, ещё не остывшем от разговора о виконте де Аранда, шевелится знакомое уже предчувствие новой семейной тайны, которую предстоит выслушать не как далёкую притчу, а как урок, обращённый непосредственно ко мне.

— Замужеством за человеком, которого она уважала, но не любила, — сказала донья Ремедиос, откладывая простыню и берясь за следующую с тем неспешным ритмом, что помогал ей, как я подозревала, произносить вслух вещи, которые дались бы труднее, будь руки её праздны. — Дон Гильермо, помещик из-под Хаэна. Достойный человек, по-своему добрый, но такой же чужой её сердцу, как чужд бывает дальний родственник, встреченный однажды на похоронах. И письмами, — продолжала она, помолчав, — письмами, которые она писала украдкой всю оставшуюся жизнь человеку,

которого любила, но не могла иметь.

Что-то во мне вздрогнуло при этих словах — слишком уж явственно перекликались они с той связкой писем, перевязанной голубой лентой, что я так недавно держала в собственных руках.

— Тому человеку было имя? — спросила я, хотя чувствовала, что вопрос этот, быть может, заходит дальше, чем донья Ремедиос готова была мне позволить.

Она посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом — взглядом человека, решающего, сколько правды пойдёт во благо, а сколько лишь умножит и без того тяжёлую ношу.

— Не моё имя называть, сеньорита, — сказала она наконец. — Скажу вам одно: письма её так и остались неотправленными. Все до единого. Она копила их в шкатулке, как иные копят драгоценности, — и перед смертью велела мне их сжечь, не читая. Я исполнила её волю. Но помню, как жгла их — целый вечер, лист за листом, — и как думала тогда, что нет на свете более печального огня, чем огонь, в котором сгорает не гнев и не ревность, а просто нерастраченная, никому не доставшаяся любовь.

— Я не говорю вам это, чтобы напугать, сеньорита, — прибавила она, складывая последнюю простыню в стопку с той окончательностью, что обычно ставит точку в разговоре. — Я говорю это, потому что кто-то должен. Потому что вы напоминаете мне её — тётушку вашу — куда больше, чем кто-либо в этом доме осмеливается вам сказать.

Она ушла, оставив меня среди стопок белья с ощущением, будто мне только что показали моё собственное будущее — не пророчество, а зеркало, — и с новым, беспокойным вопросом, для которого я пока не находила в себе смелости: не выберу ли и я однажды тот же путь, что и тётушка Пилар, — путь долга, увенчанного шкатулкой неотправленных писем и тайным костром в конце жизни?

* * *

Отложив недошитую скатерть, я отправилась искать матушку, чтобы хоть немного отвлечься от тяжёлых мыслей за обсуждением менее опасных материй — цвета лент для убранства залы или числа приборов на официальном ужине. Не найдя её ни в гостиной, ни в кабинете, я, повинуясь безотчётному чувству, заглянула в домашнюю часовню — небольшую комнату в старом крыле дома, что при жизни отца использовалась редко, разве что для утренней молитвы перед завтраком.

Матушка стояла там на коленях перед распятием, что досталось нашей семье, по преданию, ещё от прадеда, — стояла неподвижно, с опущенной головой, и плечи её, обычно такие прямые, подрагивали едва заметной, но безошибочной дрожью человека, что плачет, изо всех сил стараясь не издать ни звука. Я замерла на пороге, не решаясь ни войти, ни уйти незамеченной, — и стала невольной свидетельницей той стороны матушкиной жизни, что она с таким тщанием прятала от меня за деловитой миной хозяйки дома.

— Господи, — прошептала она, не подозревая о моём присутствии, — не дай мне ошибиться снова. Один раз я уже отвернулась от чужого счастья ради семейного благополучия — и Ты забрал у меня мужа прежде, чем я успела исправить эту ошибку. Не дай мне повторить её с дочерью.

Слова эти — «один раз я уже отвернулась от чужого счастья» — вонзились в меня острее любой открытой исповеди. Я не смела больше слушать и отступила так тихо, как только позволяли половицы старого крыла, унося с собой новое, тяжёлое знание: что матушка, при всей своей внешней непреклонности, несёт в себе то же бремя сомнений, что и я сама, — лишь несёт его молча, за закрытыми дверями часовни, куда, кроме Бога, никто не смеет заглянуть.

Я поняла в ту минуту, что фраза эта — «один раз я уже отвернулась» — могла означать лишь одно: виконта де Аранда. Матушка знала об отказе отца. Знала — и, быть может, не одобряла его так же, как я сама не одобряла теперь собственную предстоящую судьбу, но подчинилась воле мужа тогда, как подчинялась теперь воле обстоятельств, — и несла в себе эту вину годами, молчаливо, точно ещё одну неоплаченную статью в бесконечном списке фамильных долгов.

* * *

За обедом в тот день я дважды порывалась заговорить с матушкой о том, чему стала невольной свидетельницей, — и дважды слова застревали у меня в горле, точно кость. Она сидела напротив меня, разливая гаспачо с той обычной, дело-

витой сосредоточенностью, что не оставляла и следа от женщины, которую я видела на коленях перед распятием час назад, и я вдруг с необычайной остротой осознала, сколько подобных масок она, должно быть, примеряла на себе за все эти годы вдовства — маску хозяйки дома, маску безутешной, но стойкой матери, маску женщины, для которой цифры в конторских книгах важнее, чем цифры прожитых без любви лет.

— Матушка, — сказала я наконец, не выдержав, — вы никогда не жалели, что вышли за отца по решению вашего собственного отца, а не по собственному выбору?

Ложка застыла в её руке на полпути ко рту. Она посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом, точно пытаюсь понять, что именно мне известно и откуда, — но, не найдя, по-видимому, в моём лице ничего, кроме обычного дочернего любопытства, вздохнула и отложила ложку вовсе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.